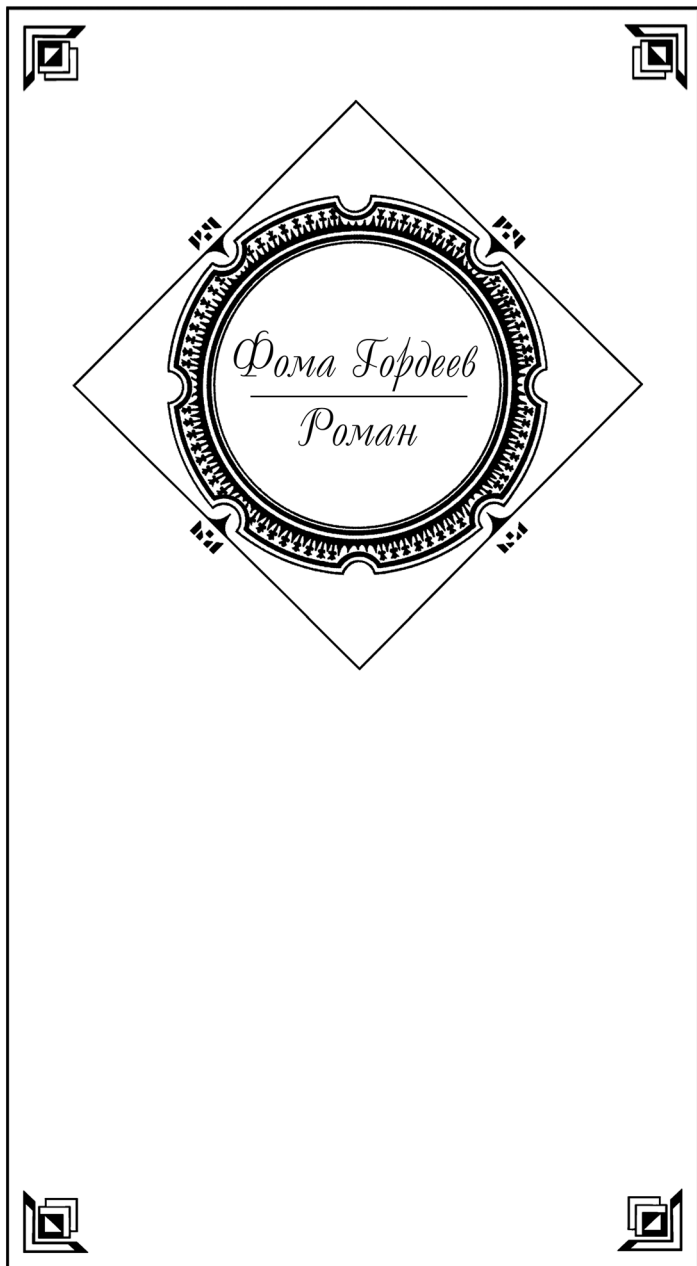




Фома Гордеев

Роман

I

Лет шестьдесят тому назад, когда на Волге со сказочною быстротой создавались миллионные состояния, — на одной из барж богача купца Заева служил водоливом Игнат Гордеев.

Сильный, красивый и неглупый, он был одним из тех людей, которым всегда и во всем сопутствует удача — не потому, что они талантливы и трудолюбивы, а скорее потому, что, обладая огромным запасом энергии, они по пути к своим целям не умеют — даже не могут — задумываться над выбором средств и не знают иного закона, кроме своего желания. Иногда они со страхом говорят о своей совести, порою искренно мучаются в борьбе с ней, — но совесть непобедима лишь для слабых духом; сильные же, быстро овладевая ею, порабощают ее своим целям. Они приносят ей в жертву несколько бессонных ночей; а если случится, что она одолеет их души, то они, побежденные ею, никогда не бывают разбиты и так же сильно живут под ее началом, как жили и без нее...

В сорок лет от роду Игнат Гордеев сам был собственником трех пароходов и десятка барж. На Волге его уважали, как богача и умного человека, но дали ему прозвище — Шалый, ибо жизнь его не текла ровно, по прямому руслу, как у других людей, ему подобных, а то и дело, мятежно вскипая, бросалась вон из колеи, в сто-

роны от наживы, главной цели существования. Было как бы трое Гордеевых — в теле Игната жили три души. Одна из них, самая мощная, была только жадна, и, когда Игнат подчинялся ее велениям, — он был просто человек, охваченный неукротимой страстью к работе. Эта страсть горела в нем дни и ночи, он всецело поглощался ею и, хватая всюду сотни и тысячи рублей, казалось, никогда не мог насытиться шелестом и звоном денег. Он метался по Волге вверх и вниз, укрепляя и разбрасывая сети, которыми ловил золото: скупал по деревням хлеб, возил его в Рыбинск на своих баржах; обманывал, иногда не замечал этого, порою — замечал, торжествуя, открыто смеялся над обманутыми и, в безумии жажды денег, возвышался до поэзии. Но, отдавая так много силы этой погоне за рублем, он не был жаден в узком смысле понятия и даже, иногда, обнаруживал искреннее равнодушие к своему имуществу.

Однажды, во время ледохода на Волге, он стоял на берегу и, видя, как лед ломает его новую тридцатипяти-саженную баржу, притиснув ее к обрывистому берегу, приговаривал сквозь зубы:

— Так ее!.. Ну-ка еще... жми-дави!.. Ну, еще разок!..

— Что, Игнат, — спросил его кум Маякин, — выжимает лед-то у тебя из мошны тысяч десять, этак?

— Ничего! Еще сто наживем!.. Ты гляди, как работает Волга-то! Здорово? Она, матушка, всю землю может разворотить, как творог ножом, — гляди! Вот те «Боярыня» моя! Всего одну воду поплавала... Ну, справим, что ли, поминки ей?

Баржу раздавило. Игнат с кумом, сидя в трактире, на берегу, пили водку и смотрели в окно, как вместе со льдом по реке неслись обломки «Боярыни».

— Жалко посуду-то, Игнат? — спросил Маякин.

— Ну, чего ж жалеть? Волга дала, Волга и взяла... Чай, не руки мне оторвало...

— Все-таки...

— Что — все-таки? Ладно, хоть сам видел, как все делалось, — вперед — наука! А вот, когда у меня «Волгарь» горел, — жалко, не видал я. Чай, какая красота, когда на воде, темной ночью, этакий кострище пылает, а? Большущий пароходина был...

— Будто тоже не пожалел?

— Пароход? Пароход — жалко было, точно... Ну, да ведь это глупость одна — жалость! Какой толк? Плачь, пожалуй: слезы пожара не потушат. Пускай их — пароходы горят. И — хоть всё сгори — плевать! Горела бы душа к работе... так ли?

— Н-да, — сказал Маякин, усмехаясь. — Это ты крепкие слова говоришь... И кто так говорит — его хоть догола раздень, он все богат будет...

Относясь философски к потерям тысяч, Игнат знал цену каждой копейки; он даже нищим подавал редко и только тем, которые были совершенно неспособны к работе. Если же милостыню просил человек мало-мальски здоровый, Игнат строго говорил:

— Проваливай! Еще работать можешь, — поди вот дворнику моему помоги навоз убрать — семишник дам.

В периоды увлечения работой он к людям относился сурово и безжалостно, — он и себе покоя не давал, ловя рубли. И вдруг — обыкновенно это случалось весной, когда все на земле становится так обаятельно красиво и чем-то укориженно ласковым веет на душу с ясного неба, — Игнат Гордеев как бы чувствовал, что он не хозяин своего дела, а низкий раб его. Он задумывался и, пытливо поглядывая вокруг себя из-под густых, нахмуренных бровей, целыми днями ходил угрюмый и злой, точно спрашивая молча о чем-то и боясь спросить

вслух. Тогда в нем просыпалась другая душа — буйная и похотливая душа раздраженного голодом зверя. Дерзкий со всеми и циничный, он пил, развратничал и спаивал других, он приходил в исступление, и в нем точно вулкан грязи вскипал. Казалось, он бешено рвет те цепи, которые сам на себя сковал и носит, рвет их и бессилён разорвать. Всклокоченный, грязный, с лицом, опухшим от пьянства и бессонных ночей, с безумными глазами, огромный и ревущий хриплым голосом, он носился по городу из одного вертепа в другой, не считая бросал деньги, плакал под пение заунывных песен, плясал и бил кого-нибудь, но нигде и ни в чем не находил успокоения.

О его кутежах в городе создавались легенды, его строго осуждали, но никто никогда не отказывался от его приглашения на оргии. Так он жил неделями. И неожиданно являлся домой еще весь пропитанный запахом кабаков, но уже подавленный и тихий. Со смиренно опущенными глазами, в которых теперь горел стыд, он молча слушал упреки жены, смирный и тупой, как овца, уходил к себе в комнату и там запирался. По нескольку часов кряду он выстаивал на коленях пред образами, опустив голову на грудь; беспомощно висели его руки, спина сгибалась, и он молчал, как бы не смея молиться. К дверям на цыпочках подходила жена и слушала. Тяжелые вздохи раздавались за дверью — вздохи лошади, усталой и больной.

— Господи! Ты — видишь!.. — глухо шептал Игнат, с силой прижимая к широкой груди ладони.

Во дни покаяния он пил только воду и ел ржаной хлеб. Жена утром ставила к двери его комнаты большой графин воды, фунта полтора хлеба и соль. Он отворял дверь, брал эту трапезу и снова запирался. Его не беспокоили в это время, даже избегали попадаться на глаза

ему... Через несколько дней он снова являлся на бирже, шутил, смеялся, принимал подряды на поставку хлеба, зоркий, как опытный хищник, тонкий знаток всего, что касалось дела.

Но во всех трех полосах жизни Игната не покидало одно страстное желание — желание иметь сына, и чем старше он становился, тем сильнее желал. Часто между ним и женой происходили такие беседы. Поутру, за чаем, или в полдень, за обедом, он, хмуро взглянув на жену, толстую, раскормленную женщину, с румяным лицом и сонными глазами, спрашивал ее:

— Что, ничего не чувствуешь?

Она знала, о чем он спрашивал, но неизменно отвечала:

— Как мне не чувствовать? Кулаки-то у тебя — вона какие, как гири...

— Я про чрево спрашиваю, дура...

— От такого бою разве можно понести?

— Не от бою ты не родишь, а оттого, что жрешь много. Набьешь себе брюхо всякой пищей — ребенку и негде зародиться.

— Будто я не родила тебе?..

— Девок-то! — укоризненно говорил Игнат. — Мне сына надо! Понимаешь ты? Сына, наследника! Кому я после смерти капитал сдам? Кто грех мой замолит? В монастырь, что ль, все отдать? Дадено им, — будет уж! Тебе оставить? Молельщица ты, — ты, и во храме стоя, о кулебяках думаешь. А помру я — опять замуж выйдешь, попадут тогда мои деньги какому-нибудь дураку, — али я для этого работаю? Эх ты...

И его охватывала злобная тоска, он чувствовал, что жизнь его бесцельна, если не будет у него сына, который продолжал бы ее.

За девять лет супружества жена родила ему четырех

дочерей, но все они умерли. С трепетом ожидая рождения, Игнат мало горевал об их смерти — они были не нужны ему. Жену он бил уже на второй год свадьбы, бил сначала под пьяную руку и без злобы, а просто по пословице: «люби жену — как душу, тряси ее — как грушу»; но после каждого родов у него, обманутого в ожиданиях, разгоралась ненависть к жене, и он уже бил ее с наслаждением, за то, что она не родит ему сына.

Однажды, находясь по делам в Самарской губернии, он получил из дома от родных депешу, извещающую его о смерти жены. Он перекрестился, подумал и написал куму Маякину:

«Хороните без меня, наблюдай за имуществом...»

Потом он пошел в церковь служить панихиду и, помолившись о упокоении души новопреставленной Акилины, решил поскорее жениться.

В то время ему было сорок три года; высокий, широкоплечий, он говорил густым басом, как протодьякон; большие глаза его смотрели из-под темных бровей смело и умно; в загорелом лице, обросшем густой черной бородой, и во всей его мощной фигуре было много русской, здоровой и грубой красоты; от его плавных движений и неторопливой походки веяло сознанием силы. Женщинам он нравился и не избегал их.

Не прошло полугода со дня смерти жены, как он уже посватался к дочери знакомого ему по делам уральского казака-старообрядца. Отец невесты, несмотря на то, что Игнат был и на Урале известен как «шалый» человек, выдал за него дочь. Ее звали Наталья. Высокая, стройная, с огромными голубыми глазами и длинной темно-русой косой, она была достойной парой красавцу Игнату; а он гордился своей женой и любил ее любовью здорового самца, но вскоре начал задумчиво и зорко присматриваться к ней.

Улыбка редко являлась на овальном, строго правильном лице его жены, — всегда она думала о чем-то, и в голубых ее глазах, холодно спокойных, порой сверкало что-то темное, нелюдимое. В свободное от занятий по хозяйству время она садилась у окна самой большой комнаты в доме и неподвижно, молча сидела тут по два, по три часа. Лицо ее обращено на улицу, но взгляд был так безучастен ко всему, что жило и двигалось за окном, и в то же время был так сосредоточенно глубок, как будто она смотрела внутрь себя. И походка у нее была странная — Наталья двигалась по просторным комнатам дома медленно и осторожно, как будто что-то невидимое стесняло свободу ее движений. Дом был обставлен с тяжелой, грубо хвастливой роскошью, все в нем блестело и кричало о богатстве хозяина, но казачка ходила мимо дорогих мебели и горок, наполненных серебром, боком, пугливо, точно боялась, что эти вещи схватят ее и задавят. Шумная жизнь большого торгового города не интересовала эту женщину, и когда она выезжала с мужем кататься — глаза ее смотрели в спину кучера. Если муж звал ее в гости — она шла, но и там вела себя так же тихо, как дома; если к ней приходили гости, она усердно поила и кормила их, не обнаруживая интереса к тому, о чем говорили они, и никого из них не предпочитая. Лишь Маякин, умница и балагур, порой вызывал на лице ее улыбку, неясную, как тень.

Он говорил про нее:

— Дерево — не баба! Однако — жизнь — как костер неугасимый, вспыхнет и эта молоканка, дай срок! Тогда увидим, какими она цветами расцветет...

— Эй, кулугурка! — шутливо говорил Игнат жене. — Что задумалась? Или по своей станице скупаешь? Живи веселей!

Она молчала, спокойно поглядывая на него.

— Больно уж ты часто по церквам ходишь... Погодила бы! успеешь еще грехи-то замолить, — сперва нагрехи. Знаешь: не согрешишь — не покаешься, не покаешься — не спасешься... Ты вот грехи, пока молода. Поедем кататься?

— Не хочется...

Он подсаживался к ней, обнимал ее, холодную, скупо отвечавшую на его ласки, и, заглядывая в ее глаза, говорил:

— Наталья! Чего ты такая нерадостная? Скучно, что ли, со мной, а?

— Нет, — кратко отвечала она.

— Так что же — к своим, что ли, хочется?

— Да, — нет... так это...

— О чем ты думаешь?

— Я не думаю...

— А что же?

— Так...

Однажды он добился от нее более многосложного ответа:

— В сердце у меня — смутное что-то. И в глазах... И все кажется мне, что это — не настоящее...

Она повела вокруг себя рукой, на стены, мебель, на все. Игнат не подумал над ее словами и, смеясь, сказал ей:

— Это ты напрасно! Тут все самое настоящее... вещь все дорогая, прочная!.. Но — захочешь — все сожгу, распродам, раздарю и — новое заведу! Ну, желаешь?

— На что? — спокойно сказала она.

Его удивляло, как это она, такая молодая, здоровая, живет — точно спит, ничего не хочет, никуда, кроме церквей, не ходит, людей дичится. И он утешал ее:

— Вот погоди — родишь ты мне сына, — совсем другая жизнь у тебя пойдет. Это ты оттого печалишься,